

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

“ОН ПЕРЕДЕЛАТЬ МИР ХОТЕЛ...”

Весной 1957 года, завершая работу на V курсе филфака МГУ, я вымучивал диплом о публицистике Михаила Кольцова, погибшего в ГУЛАГе, но помнил, что знаменитая настенная газета филологов “Комсомолия” недавно опубликовала мою лирическую поэму. Воодушевлённый успехом, я набрался храбрости, отпечатал на пишущей машинке несколько замечательных, как мне казалось, стихотворений, засунул их в конверт и, спустившись на первый этаж общаги, затолкал толстый конверт в почтовый ящик. Всё это произошло на Ленинских горах в зоне “Б” 63 года тому назад. А стихи свои я отправил в редакцию литературного журнала “Октябрь”, откуда через месяц мне пришёл ответ от неизвестного сотрудника журнала по фамилии Окуджава. Это письмо каким-то чудом сохранилось в моём архиве, чтобы наконец-то быть опубликованным.

“УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. КУНЯЕВ!

Чувствуется, что Вы не новичок в поэзии, формальная сторона не вызывает возражений. Но хочется сказать о манере письма. Дело в том, что Вы часто (умышленно или не умышленно) искусственно усложняете структуру стиха. Это искусственность приводит к позе, поза – серьёзное зло в поэтической работе.

Отказываясь от штампов (что очень хорошо), Вы часто впадаете в крайность.

Окутан в нервах каждый палец...

Это же просто не по-русски.

Или:

*На площадях Москвы ночной
Гудит гигантским пульсом город.*

“Город гудит на площадях Москвы”. А что же ещё может “гудеть”?

Или:

Продолжение, начало в № 11–12 за 2019 год и № 1–5, 7–9 за 2020 год.

*Слова — не пойманы...
...как непростреленный пистон.*

А как можно “поймать” “непростреленный пистон”? и т. п. Но если в первом стихотворении, несмотря на перечисленные неудачи, в общем поэтическая картина существует, есть то, ради чего написаны стихи, то во втором — главное место занимают рассудочность, риторичность. Ведь как хорошо сказано

Осенний чистый холод неба.

А рядом

*Опустошён, чтоб солнце вновь
Горячий свет мне в сердце влило...*

Искусственная, надуманная фраза. Не спасают и междометия и внешняя приподнятость стиха

*И дышит грудь, и рвётся грудь,
О, как люблю я эту землю!*

Это обыкновенный крик, он очень неубедителен. Это вместо найденного образа. Думается, что у Вас есть всё: и способности, и определённая подготовка, и любовь к стихам. Необходимо быть придирчивее к себе самому, критически воспринимать каждую вновь найденную деталь, не обольщаться.

Очень рекомендуем Вам связаться с литературным объединением “Магистраль”, которым руководит известный критик и поэт Григорий Левин.

Комсомольская площадь, ЦДКЖ. В 8 часов вечера, по понедельникам и четвергам.

С товарищеским приветом!

*По поручению редакции журнала “Октябрь”
(Б. Окуджава)”.*

Уяснив, что журнал “Октябрь” это тебе не “Комсомолия”, я летом того же тысяча девятьсот пятьдесят седьмого уехал в Сибирь, на журналистскую работу в Иркутскую область, откуда вернулся через три года с грудой стихотворений, и, вспомнив о совете неизвестного мне Окуджавы, разыскал литературное объединение “Магистраль”, в котором и состоялся мой публичный поэтический дебют и в котором я познакомился с литературным консультантом из журнала “Октябрь”...

* * *

Что нужно молодому литератору? Прежде всего писать и в этом находить главное счастье. А потом? — Потом печататься, хотя оно не всегда получается, а иногда и просто мешает трезво относиться к самому себе.

Но когда ты молод, пишешь стихи обильно и вдохновенно, тебе совершенно необходим собеседник, слушатель, критик, ровесник, который либо восхитится твоими перлами, либо не оставит от них камня на камне, а потом отдаст на “суд толпы холодной” плоды своего вдохновения. “Ты царь, живи один”, “Ты сам свой высший суд”, — сказал Пушкин, но это для гениев, но не для нас грешных...

Такой средой товарищей-собеседников для меня в начале шестидесятых годов стало литературное сообщество “Магистраль”, куда я забрёл по совету Окуджавы. Помню, с каким нетерпением ждал я наших еженедельных заседаний, как заранее обдумывал, о чём скажу, что восславлю, с чем не соглашусь. Не преувеличиваю — на каждое заседание нашей “Магистральной” я шёл как на личный праздник, на пиршество интеллекта, декламации, восторгов, разочарований. Все мы тогда были уверены в себе, откровенны, добры и беспощадны друг к другу. В те времена молодых издавали крайне скупой,

критика не возилась с нами, не нянчила нас, почти не замечала, и мы были сами себе и критиками, и издателями, и слушателями, и читателями. Никаких агрессивных комплексов самоутверждения, которыми болеют многие нынешние молодые литераторы, у нас не было, потому что в первую очередь мы были бескорыстны, не думали, как о конечной цели, о вступлении в Союз писателей, о Литфонде и слыхом не слыхали, о всяческих всесоюзных совещаниях и не мечтали, о Центральном Доме литераторов имели весьма смутное представление, а если и случайно попадали туда, то вели себя робко и целомудренно. Слава богу – многие соблазны в то аскетическое время миновали нас.

Пример бескорыстного служения поэзии подавал нам уже тогда бессребреник Григорий Михайлович Левин, автор до сих пор звучащей песни “Ландыши, ландыши, белый букет”, окружённый своими “студентами”... Не буду перечислять их всех – скажу только, что из “Магистралей” вышло около 50 поэтов, прозаиков, критиков, переводчиков, ставших членами Союза писателей. Целая крупная организация, не меньшая, чем в Иркутске или в Одессе. А те, кому не хватило таланта, стали редакторами, журналистами, песенниками. А те, кто не стали литераторами, всё равно вспоминают “магистральные годы”, как лучшее время своей жизни, в которое они встречались и с Николаем Заболоцким, и с Ильёй Эренбургом, и с Назымом Хикметом, и с Павлом Антокольским, и даже с Александром Серафимовичем... В те времена известные писатели были отзывчивее и легче на подъём, нежели нынешние. И конечно же чуть ли не все значительные московские поэты военного поколения, чуть ли не все будущие знаменитые поэты моего поколения побывали в те годы в гостях у нас.

Дабы сегодняшнему читателю стало более понятным, что представляла собой “Магистраль”, приведу отрывок из книги “Портрет счастливого человека” весьма известного в 70–80-е годы журналиста и критика Геннадия Красухина:

“Булат, как и я, любил бывать на этих руководимых Григорием Михайловичем Левиным занятиях. Порой невероятно интересных. “Магистраль” не зря именовали малым Союзом писателей. Состав участников казался мне очень сильным. Владимир Войнович, Александр Арон, Эльмира Котляр, Владимир Львов, Наталья Астафьева, Нина Бялосинская, Юрий Смирнов, Вадим Черняк, Сергей Козлов, Владимир Леонович, тот же Евгений Храмов, даже, что теперь может удивить многих, – Станислав Куняев <...> Да, состав “Магистралей” был очень сильным. А тут ещё Григорий Михайлович устраивал вечера, которые в то время собрали бы большой зал Центрального дома литераторов – встреча с Борисом Слуцким, с Назымом Хикметом, с Даниилом Даниным, или с Давидом Самойловым”.

К этому “сильному” списку можно добавить Льва Халифа, Игоря Шаферана, Владимира Британишского, Инну Миронер и многих других литобъединенцев, что позволяет мне сегодня назвать этот, по выражению Красухина, “малый союз” “малым народом”. Многие из того, что озадачивало меня в “Магистрале” уже в те благополучные годы, засело в моей памяти. Помню, как, возвращаясь с каких-то поэтических хмельных посиделок, мы с Вадимом Черняком заговорили о Сергее Есенине, и он вдруг резко оборвал разговор: “Да ненавижу я этого Вашего крестьянского поэта”...

По прошествии шестидесяти с лишним лет, просматривая список магистральцев, я понимаю, что из всего обилия имён лишь присутствие турка Назыма Хикмета и, как писал Красухин, “к удивлению многих Станислава Куняева” (русского) вносило некоторое разнообразие в монолитный национальный союз знаменитого в те времена сообщества, любимой песней которого после наших застолий была возведённая в гимн клятва Окуджавы:

*Поднявший меч на наш союз
достоин будет худшей кары,
и я за жизнь его тогда
не дам и ломаной гитары.
Как вождельно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмёмся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.*

В названии этого “гимна” (“старинная студенческая песня”), впервые опубликованного в сборнике “Арбат, мой Арбат” (1976 г.), было заключено явное лукавство, как и в другом популярном булатовском шлягере:

*Возьму мешок, и вещмешок, и каску,
в защитную окрашенную краску,
иду себе, играя автоматом.
Как славно быть солдатом, солдатом.
А если что не так — не наше дело,
как говорится, родина велела...*

Евтушенко в своих воспоминаниях хвастался, что он спас это стихотворение для печати, подарив Булату название “Песенка американского солдата” в то время, когда оно воспринималось проницательным либеральным читателем, как осуждение наших солдат, вторгнувшихся в 1968 году в Прагу. . .

Окуджавские сборники стихов “Арбат, мой Арбат” с дарственной надписью: “Дорогим Гале и Стасику сердечно. Булат”, и “Март великодушный” со словами “Стасику Куняеву на дружбу. Булат” до сих пор хранятся в моей библиотеке. . . Но эти слова “сердечно” и “на дружбу” к середине шестидесятых годов уже не отражали сущности наших отношений. “Магистральский” период моей жизни уходил в прошлое, гимны “возьмёмся за руки друзья” и подтексты “Песенки американского солдата” уже не волновали меня, поскольку к середине 60-х годов я естественно и прочно сблизился с Вадимом Кожинным, Николаем Рубцовым, Анатолием Передревым, Владимиром Соколовым, Василием Беловым, Валентином Распутиным, Петром Палиевским и многими другими русскими людьми, с которыми мне посчастливилось прожить вторую половину жизни. Однако эти перемены в судьбе, слава Богу, не затмили тех чувств, с которыми я метельными московскими вечерами в предвкушении “пира на Олимпе” спешил к трём вокзалам навстречу жёлтым окнам громадного советского Дворца культуры железнодорожника. . .

* * *

Когда Булат издал в 1967 году книгу стихотворений “Март великодушный”, я внимательно прочитал её, пытаюсь понять, почему охладел к его творчеству, и, поразмыслив, понял: милые и задушевные песенки это одно, а стихи в книге, лишённые музыкального обаяния и авторского неповторимого исполнения, — это нечто другое. . . Сам Булат, видимо, тоже почувствовал эту закономерность и все свои стихи, которые он исполнял под гитару в домашней обстановке или на эстраде, поместил в отдельном разделе под названием “Мои песни”. Увидев это, я вспомнил, что поэты Серебряного века — Есенин, Маяковский, Гумилёв, Ахматова, Цветаева — не оставили никаких воспоминаний о творчестве Вертинского, видимо, чувствуя, что его творчество живёт по иным законам, нежели те, которые были завещаны нам Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Некрасовым. Мне захотелось написать об этих своих размышлениях, и вскоре статья “Инерция аккомпанемента” лежала на моём письменном столе. Я предвидел, что её публикация отразится на наших отношениях с Булатом, но что делать? Булат — друг, но истина дороже. Истина же заключалась в том, что музыкальный аккомпанемент не только даёт стихотворной стихии всяческие возможности, но таит в себе одновременно скрытые опасности для печатного слова. Не зря же Анна Ахматова называла всех наших знаменитых стихотворцев шестидесятых не иначе как “эстрадники”.

Однако неожиданно для себя я открыл, что опубликовать свою статью не так-то просто. Редакции многих журналов и газет (“Литературка”, “Дружба народов”, моё некогда родное “Знамя”) отказывались под разными предлогами. Кто-то не хотел портить отношения с самим Окуджавой, кто-то боялся реакции читателей, поклонников Булата, кто-то понимал, что творчество Окуджавы имеет почитателей на Старой площади — “Там могут не понять!” Но чем чаще я получал отказ — тем яснее мне становилось, что я должен опубликовать свой незаурядный труд во что бы то ни стало. И наконец-то удача: когда мне отказали в публикации официальные “русско-патриотические” коchetовский “Октябрь” и софроновский “Огонёк”, я вдруг получил приглашение

в еврейско-либеральный журнал “Вопросы литературы”, где моя “Инерция аккомпанемента” наконец-то увидела свет в августовском номере 1967 года. Но редакция журнала, видимо, для того, чтобы привлечь к творчеству Окуджавы как можно больше внимания, опубликовала в нём и подробнейший ответ на мою статью близкого друга Окуджавы критика Геннадия Красухина, который, защищая любимого барда, попытался оспорить чуть ли не каждое моё суждение о стихах Булата. Эхо этих ныне забытых литературных страстей до сих пор живёт в моей памяти. И Окуджавы нет в живых, но эти споры были подлинным свидетельством свободы мысли и слова в советскую якобы полностью подцензурную и даже якобы гэбэшную эпоху. Не сомневаюсь, что я был брав не только в стилистических мелочах, но победили всё-таки Окуджавы с Красухиным и прочими “шестидесятниками”, потому что они разрушили жизнь и страну, которую такие, как я, не смогли спасти. Но “давайте после драки помашем кулаками”... как писал Слуцкий... Да я и сам понимал, что пишу не только о песенках Булата, но и о закономерностях, которыми живёт литература в целом, и держал в уме имена не только Вертинского, но и Высоцкого, и Галича, и даже Юлия Кима с Юрием Визбором...

Итак, “Инерция аккомпанемента”.

“Песня – на грани стихотворения, стихотворение на грани песни, поэма, которая становится драматическим представлением, повесть, написанная по законам киносюжета... Смешение всех и всяческих жанров, порой смелое, порой смешное, уже никого не удивляет. А взять магнитофонную песню – совершенно особый жанр, рождение которого прямым образом связано с распространением магнитофонов. Имена её создателей то всплывают на поверхность, то забываются. Создаётся впечатление, что для того чтобы оставаться живым, этот жанр должен постоянно обновляться, и чем быстрее, тем лучше. В XIX веке поэты не писали песен как таковых. Они писали стихи, а композиторы находили среди стихотворений такие, которые могли бы стать текстом песни или романа.”

Современная песня – явление XX века, детище нашего времени, одно из серьёзнейших доказательств существования массовой культуры. Она, чтобы удовлетворить спрос публики, потребовала для своего появления не просто стихов. – В результате создалась эстетика нового типа, по сравнению с поэзией книги упрощённая, – утилитарная, но тем не менее реально существующая. Конечно, мне можно возразить, что есть, мол, песни на стихи Исаковского или Фатьянова. Но ведь это же капли в море, исключение из общего правила, в то время как эфир переполнен словами и мелодиями, живущими по законам моды, рождающимися как бабочки-подёнки утром, чтобы вечером умереть и уступить своё место новым взлетевшим в воздух шлягерам, более точно отвечающим запросам нового дня...

Между тем все эти жанры – песня, песенный текст, стихотворенья – каким-то образом в сознании многих людей представляются одним целым, объединяются широким понятием “поэзия”. Я всегда недоумеваю, когда диктор объявляет по радио или телевиденью, что, мол, исполняется песня такого-то композитора на стихи такого-то поэта, потому что в большинстве случаев – этих стихов без музыки не существует. А коли так, то нужно говорить не о стихах, а о “тексте” и человека, пишущего тексты для песен, надо называть не поэтом, а текстовиком. Правда, всё может обстоять гораздо сложнее, когда мы имеем дело не просто с производителем текстов, а с человеком, по-настоящему наделённым поэтическим талантом, связавшим свою творческую судьбу с песней. Я вспоминаю время, когда лет пятнадцать тому назад в нашу поэзию вошёл Булат Окуджавы как первый, может быть, в России создатель особого жанра. Творец этого жанра – не только поэт, не только композитор, не только исполнитель, – он “всё сразу”, и в Европе обозначается это “всё сразу” словом “шансонье”. Но я не буду писать о Булате Окуджаве как об исполнителе и композиторе. Я буду писать о нём только как о поэте. Его стихи – и тексты его песен в их печатном “книжном теле”, их судьба во времени – вот что меня интересует.

Успех Окуджавы-барда в начале 60-х годов был колоссален. Он не уступал успеху Евтушенко. Но песни песнями, а между тем одна за другой выходили его книги: “Острова”, “Весёлый барабанщик”, “По дороге к Тинатин”. И, наконец, в 1967 году появилась итоговая книга стихотворений “Март великодушный”. Словом, на протяжении десятилетия Окуджавы не сдавался на

милость развязанной им самим эстрадной стихии. Издавая книги стихов, он тем самым доказывал, что остаётся не просто сочинителем песен, но и поэтом, что поэтическое слово в его первоначальном значении не потеряло для него смысл. Неоднократно на своих вечерах он говорил о том, что уже не пишет песен, а читал стихи, но, как правило, чтение заканчивалось тем, что в конце концов чуть ли не против воли в его руках появлялась гитара. Публика хотела видеть своего кумира таким, каким она однажды полюбила его. Книга “Март великодушный” – стала, пожалуй, самой серьёзной попыткой Окуджавы утвердить себя посредством “чистого” слова. Недаром в аннотации к книге говорилось, что в неё “вошли стихи, написанные поэтом за последние годы. Большинство из них публиковалось в периодике. Завершает книгу цикл стихов-песен, печатающихся впервые, но хорошо знакомых читателям: они часто звучат с киноэкрана, по радио, с концертной эстрады”. Так сам автор провёл грань между стихами-песнями и стихами “в чистом виде”.

*Человек стремится в простоту,
Как небесный камень — в пустоту,
Медленно сгорает
И за предпоследнюю версту
Нехотя взирает.
Но во глубине его очей
Будто бы — во глубине ночей
Что-то созревает.*

*Времена изменяют его внешность.
Время умиряет его нежность...*

Одно из первых стихотворений сразу озадачило меня изящной, но бессодержательной симметрией строчек: “Время изменяет его внешность. Время умиряет его нежность...” А почему “во глубине его очей будто бы – во глубине ночей?” Какое-то первое попавшееся сравнение. Есть что-то необязательное и в красивых словосочетаниях “небесный камень”, “предпоследняя верста”. Может быть, эта словесная вязь всего лишь случайная неудача? Относясь к творчеству Окуджавы с симпатией, сложившейся ещё во времена триумфального шествия его песен, я стал читать дальше. Но стихи одно за другим убеждали меня в том, что подобное многословие не случайно, что в обилии слов для поэта заключён какой-то смысл:

*О, чтобы было всё не так,
Чтоб всё иначе было,
Наверно, именно затем,
Наверно, потому
Играет будничным оркестр
Привычно и вполсилы,
И мы так трудно и легко
Все тянемся к нему.*

В этом отрывке 31 слово. Из них 23 – вводные слова, союзы, предлоги, междометия, то есть служебные элементы речи, не имеющие в русском языке самостоятельного значения. Да и основные слова работают лишь в какую-то часть своих возможностей: “привычно и вполсилы” – звучат как синонимы, “трудно и легко” – распространённый тип стандартной поэтической фразы с намёком на некую противоречивую сложность жизни. В общем, остаётся одна строчка: “Играет будничным оркестр”. Три слова из тридцати одного.

Да не покажется кому-нибудь этот подсчёт механическим: на мой взгляд, это хотя и несколько грубоватое, но убедительное доказательство бессодержательности приведённой цитаты, и примеры, подтверждающие эту мысль, рассыпаны на страницах книги “Март великодушный”:

*Люблю я эту комнату
Без драм и без расчёта...
И так за годом год*

*Люблю я эту комнату,
Что, значит, в этом что-то,
Наверное, есть, но что-то —
И в том, чему черёд.*

Какой же смысл в этом многословии? Может быть, поэт хочет “присутствием” слов заменить отсутствие содержания? Но разве можно пустыми словами бороться с пустотой? А может быть, он, привыкший к песенной условности, не в силах справиться с ней и прийти к точным мыслям и живым словам?

Иногда, для достоверности, что ли, в стихах Окуджавы вдруг появляется “живое” слово:

*Когда затихают Оркестры Земли
И все музыканты ложатся в постели,
По Сивцеву Вражку проходит шарманка —
Смешной, отставной одноногий солдат.*

*Представьте себе: от ворот до ворот,
В ночи наши жёсткие души тревожа,
По Сивцеву Вражку проходит шарманка,
Когда затихают Оркестры Земли.*

Представим себе зрелище: все оркестры (с большой буквы) затихли, все музыканты легли в постели, идёт солдат, бумажный или оловянный, тревожа “жёсткие” души. Но почему по Сивцеву Вражку (вот оно “живое слово”), а не по Млечному Пути? Для достоверности. Чтобы придать этому мелодраматическому представлению хотя бы малейший привкус если не жизни, то намёка на неё. Можно, правда, возразить, сказав, что это песня, а не стихотворение. Песня по интонации, по мелодии строчек, по их симметричности. В таком случае действительно относиться к этому произведению придётся с несколькими требованиями. И всё-таки... Дальше я хочу предъявить счёт этому песенному тексту словами самого Окуджавы, сказанными, правда, как упрёк опытному поэту-песеннику: **“К хорошей мелодии пристёгивается так называемый текст слов, ну вроде “Речка движется и не движется”, за которым не то что судьбы человеческой — элементарно смысла не отыскать”**.

Вполне возможно, что я впадаю в ту же крайность, судя о стихах Окуджавы, в которую впадает, рассуждая о популярной песне “Подмосковные вечера”, и он сам. Может быть, большего в обоих случаях от поэтов требовать нельзя и нужно ли искать “судьбы человеческой” там, где она, возможно, и не нужна.

Творчество поэта, тяготеющего к песне, как правило, отмечено печатью лирической бесхарактерности. Слишком на большую аудиторию он работает, чтобы позволить себе роскошь быть самим собой. Когда поэт пишет: **“Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать” (“трудно и легко”)**, — то “милая” в этом тексте понятие абстрактное, потому что оно, должно подходить для Москвы и для Казани, для юноши и для пожилого человека и т. д. Чем меньше конкретных примет, тем лучше. “Милая” — существо “среднестатистическое”. Поэтому немислимо, чтобы, например, такие стихи, полные личного напряжения: “и какую-то женщину, сорока с лишним лет, называл скверной девочкой и своею милой”, — могли стать песней.

*Любимый город в синей дымке тает:
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд, —*

вот образцовый, классический среднелирический шаблон, похожий на раскрашенный фон с лебедями и колоннами — нехитрый реквизит рыночного фотографа. В раскрашенной фанере вырезано отверстие для лица, заходи сзади, всовывай голову, и фото готово. Вокруг тебя “любимый город” и “зелёный сад”. Этот закон властен и над Долматовским, и над Ошаниным, и, как видим, над Окуджавой. Правда, надо оговориться, последний рискнул произвести революцию в системе лирических шаблонов, сделал их более

индивидуальными. И в том его заслуга. Он сузил понятие “любимого города”, пошёл на то, чтобы появился Сивцев Вражек. Но суть дела от этого не изменилась, характерные словечки “прощаться и прощать”, “трудно и легко”, “смеясь и плача”, “признание и сплетни”, “я вижу, как насмешливо, а может быть, печально”, и т. д. — это ещё не характер, а сентиментальность — ещё не чувство.

Видимо, от природы дарование Окуджавы таково, что даже когда он писал “просто стихи” — всё равно из его творческого замысла не исключалась возможность того, что стихотворенье может стать песней. Но когда такая возможность не осуществлялась, то всё, что в песне могло стать достоинствами, оборачивалось в стихотворенье недостатками. Система стандартов, давая жизнь песням, убивает стихи. Своего рода биологическая несовместимость. В стихах она приводит в конечном счёте к вычурной риторике:

*Я строил замок надежды. Строил-строил.
Глину месил. Холодные камни носил.
Помощи не просил.*

В таком духе можно продолжать до бесконечности, что поэт и делает. И никакие значительные намёки на некто важное (“всегда и повсюду только свежие раны в цене”, “не жалейте дроздов: нам, дроздам, как солдатам, всё равно погибать на снегу”) не получают ответа личной судьбы. Кстати, недавно ещё один поэт (Островой) написал песню о дроздах, которая начинается так:

*Вы слышали, как поют дрозды?!
Нет, не те дрозды, не полевые...*

Незнание жизни сыграло с автором злую шутку: дрозд не полевая птица, а лесная. Впрочем, в песне никто этого не замечает — и её поют, она — гвоздь песенного сезона. Насколько людьми владеет глухота, когда речь идёт о песне, можно проиллюстрировать следующим примером. Все мы много раз слышали и сами пели давнюю довоенную песню: “подари мне, сокол, на прощанье саблю, вместе с острой саблей пику подари”, — и никому в голову не приходит, что казак едет на войну, а любимая девушка на прощанье разоружает его. Музыка и безличность песенной стихии заглушают порой не только слова, но и здравый смысл.

Но вернёмся к стихам Окуджавы. Эстрадно-песенное многословие часто мешает ему отказаться в собственных стихах от бессодержательных красот:

*Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
Надёжный и таинственный немного,
Особенно когда глядишь с порога,
Особенно когда надежды нет.*

“Друг Аркадий, не говори красиво”, — просил главный герой тургеневской повести “Отцы и дети” своего приятеля. Увы! Так хочется напомнить об этом Окуджаве, который пишет:

*Ночной кошмар,
как офицер гусарский, тонок.
Флейтист, как юный князь, изящен.
И тополи
попеременно
Босые ноги ставят в снег,
скользя,
Шагают, как великие князья.*

А ещё говорят о некой “уличности”, “разговорности” стихов Окуджавы! Какая уж тут “уличность”. Уличность — дело хоть и грубое, но живое. Она — стихия Высоцкого. А здесь — какая-то претензия на “изящность” выражений.

Но как бы то ни было, я считаю не случайным, что в течение вот уже пятнадцати лет, несмотря на широкую популярность Окуджавы-шансонье, о характере его поэзии в критике не было ни одного серьёзного и толкового разговора. Видимо, материал не давал к тому оснований.

Давайте внимательно прочтём одно из наиболее “нагруженных смыслом” стихотворений сборника и посмотрим, что теряет и что приобретает поэт, отказавшись от помощи голоса и гитары.

Стихотворение “Встреча” (кстати, оно не похоже на песенный текст) написано на тему, традиционную для русской поэзии, — о бессмертье гения, о жалкой судьбе завистника убийцы:

*Насмешливый, тщедушный и неловкий,
Единственный на этот шар земной,
На Усачёвке, возле остановки,
Вдруг Лермонтов возник передо мной.*

Итак, они встретились. На Усачёвке (выполняющей роль Сивцева Вражка?). Далее идёт смесь маскарада, амикошонства и мелодекламации. Лермонтов декламирует:

*Мартынов — что... —
Он мне сказал с улыбкой. —
Он невиновен. Я его простил.*

Диалог Лермонтова и Окуджавы продолжается на равных. И тот и другой — поэты, оба понимают друг друга; правда, Лермонтов — поскольку он гений — относится к Окуджаве с лёгким оттенком фамильярности, но достаточно дружеской, чтобы обижаться на него:

Царь и холоп — две крайности, мой милый.

или:

*Мой дорогой,
Пока с тобой мы живы,
Всё будет хорошо
У нас с тобой...*

И нам с тобой нельзя не рисковать.

И ты не верь, не верь в моё убийство.

Приятно, конечно, вести такой разговор, страдать вместе с гением, общаться с ним, но зачем вкладывать ему в уста монологи — даже не Грушницкого, а Евтушенко:

*Что пистолет?.. Страшна рука дрожащая,
Тот пистолет растерянно держащая,
Особенно тогда она страшна,
Когда сто раз пред тем была нежна...*

(Что значит это непонятное “рука... что сто раз пред тем была нежна”?)

Нелегко удержаться от соблазна стать в героическую, в благородную, в трагическую позу. Но таков закон поэтической правды, что позёрскому чувству никогда не хватает убедительности. От лермонтовского пророчества о своей смерти в стихотворении “Сон” веет реализмом и пророческим холодом. И не только потому, что поэт смертью подтвердил своё предсказание, а потому, что он подтверждал его всем творчеством, всем образом жизни.

Я говорю о том, что когда Окуджава хочет сказать нечто очень важное, он почти всегда становится в трагическую позу: “Вот и самые свежие раны неустанно, как вулканы, дымятся во мне...” (Как приятно ощущать себя борцом, изнемогающим от ран.) “И лучше пусть меня судят матросы от берегов вдали,

чем презирующие море обитатели твёрдой земли” (как приятно противопоставить себя жалким сухопутным обывателям.) “Прощаю побелевшими губами” (как приятно быть великодушным, при этом страдать и при этом успеть посмотреть в зеркало на свои побелевшие от страдания губы).

Что делать! Я ничего не придумал – это всё написано Окуджавой. Может быть, моя ошибка в другом: я слишком много требую от поэта?

Природа не терпит пустоты. Если в стихах личность не проявляется – её нужно чем-то заменить, иначе книга никому не будет интересна. И поэт идёт, смешивая законы жанров, по пути создания контакта с читателем. В этом деле, нужно отдать ему должное, он подлинный виртуоз. Возникает целая система обращений, то доверительных, подкупающих откровенностью, то фамильярных, то многозначительных. Поэт как бы признаётся читателю, что ему нужен слушатель, собеседник, заранее рассчитывая на ответную благодарность.

Появляется целая система вводных слов, глаголов повелительного наклонения, которые, как известно, в русском языке эмоциональны сами по себе. “Будьте добры”, “давайте же не будем обижать сосновых бабок и еловых внучек”, “иду представьте вы”, “если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить”, “не жалейте дроздов”, “купи пугач в отделе игр, мой друг”, “да не суетитесь вы, не в этом счастье”, – словом, “будьте добры”, откройте книгу на любой странице и убедитесь во всём сами.

Есть в языке слова, которые сопротивляются своей значительностью легкомысленному обращению с ними. Одно из таких слов – “умирать”. Все его не употребляют, не принято, ибо оно имеет прямое отношение к судьбе. Даже слишком прямое... Вспомним Есенина:

*Чтоб за все грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.*

Совершенно естественно, что легковесное употребление слова “умирать” в стихах Окуджавы создаёт неуместный в разговоре об этой трагедии игривый тон, хотя поэт, “представьте себе”, и не желает этого:

*Умереть —
Тоже надо уметь,
На свидание к небесам
Паруса выбирая тугие. (Как красиво! — Ст. К.)
.....
Смерть приходит тихо,
Бестелесна,
У себя на уме.*

(Может быть, всё-таки “себе на уме”?)

Но всё это конфликты, так сказать, с духом языка. Гораздо чаще в книге возникают конфликты с его буквой. В песне они менее заметны. Некогда я и сам напевал: “на углу у старой булочной... комсомолочка идёт”, – и это “идёт на углу” только при чтении вдруг остановило моё внимание. Я уверен, что если запеть многие из стихотворений, то фразы, вроде “чтобы мясу быть жирному на целую треть” или “где-то там свой покой сторожа и велик, хоть и прожит (?), мой последний любимый ханжа до меня дотянуться не может”, под звон гитары беспрепятственно вылетели бы из уст. Но в книге, предназначенной не для пения, а для чтения, заметно всё: и “простывший чай” (в смысле “остывший”), и “не представляю Пушкина... что в плащ укрыт” (видимо, укрыт плащом), и “капитан команду вскрикнет, и на утре раннем побегут барашки белые” (случай более сложный – можно просто вскрикнуть, но не “вскрикнуть команду”, и белые барашки побегут ранним утром, но не “на утре раннем”). Рядом опять читаем: “это пёстрое, шумное, страстное нужно с рассвета и затемно собирать и копить”, – ясно, что поэт хотел сказать “с рассвета и до темна”, но перепутал вечернее время (до темна) с утренним (затемно).

А чуть дальше меня остановил “запах блюд, не сготовленных вовсе”. А потом подряд, как из рога изобилия, посыпалось: “по Пушкинской площади плещут страсти”, “сбитый с ног наповал”, “стихло в улицах враньё”... Бывает так, что напряжение мысли и страсти ломает нормативную грамматику, и тогда мы читаем: “Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рождённое слово”. Но у Окуджавы, как говорится, другой случай. Простая неряшливость, идущая от скороговорочности, от многословия, от песенной накатанности, от нечувствительности к языку, от приблизительного знания того, что ты хочешь сказать. Впрочем, как бы кого-то ни раздражала его поэзия (песня или стихи – всё равно), она существует – “и ни в зуб ногой”. На неё есть спрос. Она – явление заметное, талантливое и, что, пожалуй, важнее всего, живое, занимающее своё место в современной полудуховной жизни. У неё есть ещё свой поклонник, свой слушатель. Читателя, думаю, нет. Говорить о причинах её живучести – значит говорить об особенностях душевного склада этого слушателя. Дело – непростое, и цели такой я перед собой не ставлю. Моя цель была иной: попытаться понять некоторые, на мой взгляд, характерные черты творчества Окуджавы, в связи с тем, что человек не может освободиться от своей способности “работать на песню”.

Всё это не противоречит ранее сказанному: просто мы – я и этот слушатель – в понятие “жизненность” вкладываем разный смысл. Этому слушателю чужда давняя традиция русской поэзии, заключающаяся в сознании избранничества. Если бы даже он и задумался над знаменитыми строчками Блока:

*Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, — хуже
Твоих ежедневных бессильных потугов,
Твоей обывательской лужи? —*

он бы не без основания пришёл к мысли, что всё это сказано не о нём. И по-своему был бы прав: зачем ему отдавать свои симпатии кумиру, который не платит ему тем же? Он хочет и требует от поэта, чтобы тот вёл с ним разговор на равных. Это, видимо, одно из самых новых и значительных изменений в искусстве, если иметь в виду не последние годы, а как минимум десятилетия. Этому читателю или слушателю нужен поэт, говорящий его словами, не отталкивающий, а приглашающий к разговору. Стихи такого поэта должны быть для него и понятны, и в то же время обладать некоторой каплей доверительности, чтобы он мог восхищаться ими. Этот слушатель очень ценит, что поэт знает, какой жизнью приходится ему жить. И когда он слышит: “Но я московский муравей”, – он всем существом благодарен поэту, – эта песенка о нём.

Может быть, я в чём-то и не прав. О каждом поэте, как говорится, нужно судить по тем законам, которые он признал над собой. Окуджава живёт в своей, созданной им кукольной стране с Кипплингом, “насвистывающим в дудку”, с одноногим солдатом из Сивцева Вражка, с “голубым человеком”, с Франсуа Вийоном, с “пиратом из районной пивной”. В этой стране своя природа под стать её обитателям – не “сосны”, а “сосновые бабки”, не ели, а “еловые внучки”. Этот мир музыкальной шкатулки, где “целый день играет музыка”, где “все лесные свирели, все дудочки, все баяны плачут”, где “две вертлявые скрипки идут на прогулку”. Редко и неумело пытается выйти поэт за границы этого картонного государства. Художник, оформлявший книгу, точно угадал характер её обитателей: изобразил на суперобложке силуэты кукольных человечков с изломанными и печальными жестами. А на другой стороне обложки – фотография немолодого уже человека с усталым лицом и умным взглядом; ему холодно, его шея обмотана шарфом. Он стоит на фоне города, утопающего в дыму и в морозном тумане. Если я не прав в самом главном, если поэзия – место, куда нужно прятаться от жизни, – расскажите мне, как связана судьба этого живого, небумажного человека, имеющего имя и лицо, и судьба этого утонувшего в холодном мареве мира с книгой под красивым названием “Март великодушный”.

1967 г. ”

Геннадий Красухин защищал Окуджаву страстно и бестолково. Понимая это, он уже после смерти Булата написал о нём целую книгу с названием “Портрет счастливого человека”, изданную в 2012 году, в которой посетовал: **“Недавно я перечитал нашу полемику, напечатанную в журнале осенью 1968 года. Оба оппонента достойны друг друга. Ответ мой слаб, хотя кое-что из него я мог бы повторить и сейчас, но бросается в глаза спровоцированное оппонентом ненужно преувеличенное внимание к отдельным деталям. <...> В пылу полемики я не заметил своих композиционных огрехов. А они были. Словом, сейчас под этой статьёй я не подписался бы...”**

Спасая честь Окуджавы, безнадежно замаранную самим Булатом в роковом октябре 1993 года, Красухин не по злему умыслу, а скорее по легкомыслию наговорил множество то ли сознательных, то ли случайных глупостей. Но надо сказать, что в лучшие времена и даже после публикации “Аккомпанемента” наши отношения с Булатом качались на весах судьбы туда-сюда. **“Только что, – писал Красухин в книге “Портрет счастливого человека”, – прочитал в восьмом выпуске “Голос надежды” в статье Владимира Фрумкина “Ещё раз о Булате”, как “глубоко огорчился Окуджава, когда в “Вопросах литературы” вышла злобная и несправедливая статья Станислава Куняева “Инерция аккомпанемента”. “Мы с Куняевым дружили, – передаёт Фрумкин слова Окуджавы, – он очень умный человек – и ругает меня, и хвалят-то люди послабее”.**

“Не знаю, кто из нас раньше обсуждал с Булатом статью Куняева – я или Фрумкин? Но помню, что и мне он поначалу похвалил Куняева: дескать, как убедительно он его, Булата, ругает, сколько заметил в его стихах погрешностей, как, оказывается, он, Булат, плохо владеет русским языком”.

Но, увы, Булат был весьма подвержен лёгкой смене своего настроения и своих убеждений и чересчур верил тому, что ему внушал круг его друзей, которые боялись “пропасть поодиночке”. **“К лету 1990 года, – как вспоминал литератор Владимир Фрумкин в статье “Между счастьем и бедой” (альманах “Кольцо А”, 2015 г.), – во время шашлычных посиделок в Вермонте двое бывших москвичей-эмигрантов завели разговор о кадровых переменах в журнале “Наш современник” и о том, как благотворно сказалось на его литературно-философском уровне мудрое руководство нового главного редактора Куняева. Булат опешил: “Да о чём вы говорите! Какая такая философия-литература! Они же все – разбойники!”** И это было сказано в то время, когда “Наш современник” стал последним прибежищем для историка Игоря Шафаревича, философа Александра Зиновьева, митрополита Санкт-Петербургского Иоанна, композитора Георгия Свиридова, историка и критика Вадима Кожинова, поэта Юрия Кузнецова, прозаиков Белова и Распутина и многих других авторов, на которых стояла и стоит до сих пор великая русская литература. Поддержав своим честным до 1993 года именем ельцинско-гайдаровскую камарилью, подписав позорное письмо “42-х”, одобрив расстрел какого ни есть, но избранного народом Парламента и Верховного Совета, Окуджаве ничего не оставалось, как объявить весь цвет русской поэзии, прозы и критики, весь цвет исторической науки “разбойниками”... Чтобы привлечь к себе интеллигенцию, антинародная власть сделала ещё в начале 90-х ставку на Булата, присвоив ему в 1991 году Государственную премию СССР. Не помню точно, но вполне возможно, что эту **Советскую** награду он получил из рук Ельцина. А ведь в подобных же обстоятельствах выдающийся прозаик и настоящий фронтовик сталинградец Юрий Бондарев, узнав, что ему к очередному юбилею ельцинские подручные оформляют какую-то награду – отказался от неё. В эти же времена Вадим Кожинов, после телевизионной дискуссии с подписантом письма “42-х” Андреем Нуйкиным, протянувшим Вадиму руку для рукопожатия, заложил свою руку за спину со словами – **“не могу... Ваша рука в крови!”** Вот как отвечали наши “разбойники” всем ренегатам, которые когда-то были советскими писателями. Пойдя на “сделку с дьяволом”, Булат Окуджава опускался всё ниже и ниже. В августе 1995 года, выступая на радиостанции “Свобода” в передаче “Поверх барьеров”, он

договорился до того, что **“в недалёком будущем Шамилю Басаеву поставят памятник”**. И это было сказано не просто о “разбойнике”, но о палаче Будённовска, где этот садист погубил более ста мирных людей, в основном женщин будённовской больницы. А будучи уже тяжело больным, незадолго до смерти последнее своё стихотворенье в жизни “бумажный солдат” посвятил гуманисту Анатолию Чубайсу.

После смерти Булата Шалвовича, случившейся во Франции, Ельцин издал указ об учреждении Государственной литературной премии имени Б. Окуджавы, о присвоении имени Окуджавы одной из улиц Москвы, об установлении в Литинституте имени М. Горького нескольких стипендий имени Окуджавы, о создании в Переделкино Государственного Дома-музея Окуджавы, об открытии на Арбате мемориальной доски на доме, где жил “дворянин Арбатского двора”... Были в этом указе ещё какие-то пункты, но весь перечень пунктов указа был настолько неуместен и нелеп, что недавно вдова Окуджавы, выступившая по телевизору, с недоумением призвала ведущему Марку Розовскому о том, что несколько из этих пунктов нынешняя послеельцинская власть так и не выполнила... Дошло, видимо, до новых чиновников от культуры, что лучше им не вмешиваться в такого рода дела, чтобы не выглядеть дураками.

* * *

Булат Окуджава, закончивший в 50-х годах Тбилисский университет, был направлен на работу в среднюю школу посёлка Шамордино Калужской области, где находился знаменитый женский монастырь. В этот монастырь приезжал прощаться со своей сестрой Марией Лев Толстой, сбжавший из Ясной Поляны навстречу смерти. В Шамордино и началась литературная жизнь Булата Шалвовича, переехавшего вскоре из монастырской деревни в Калугу. В Калуге он поступил на работу в газету “Молодой ленинец”, стал активнейшим участником литературного объединения “Факел” и автором нашумевших в то время на всю страну “Тарусских страниц”, где были напечатаны творения самых известных московских диссидентов. Как мне помнится, за этот недостаток бы снят с работы секретарь Калужского обкома КПСС по идеологии. Все эти времена и события сейчас забыты, но поскольку судьба Булата с той поры была прочно связана с культурной жизнью моего родного города, я вспоминаю, что именно в Калуге и он и я издали свои первые стихотворные книги. Вольно или невольно, но с той поры наши литературные пути постоянно пересекались. И когда в сентябре 1997 года Булат умер в Париже, калужская областная газета “Весть” посвятила этому событию целую полосу. На смерть Булата откликнулись и читатели, боготворившие Окуджаву, и отвергавшие его. Наиболее уравновешенную правду о нём высказал в этом номере газеты один из вождей тогдашнего Российского Христианского Демократического Движения Глеб Анищенко. В статье “Бумажный солдат как совесть интеллигенции” он писал:

“Окуджава — совесть эпохи”. Прекрасно! Но какой именно эпохи? Ведь бард прожил довольно долгую жизнь и оказался сопричастным несколькими периодам российской истории. Первый из них — Великая Отечественная война. Окуджава не мог быть её “совестью”, так как он всё-таки не военный, а послевоенный поэт. Я, безусловно, верю солдату и поэту Давиду Самойлову, что такой певец в войну был необходим: “Былым защитникам державы, нам не хватало Окуджавы”. Легко представить, что после боя очень хотелось послушать о том, “что я сказал медсестре Марии”, и о том, как “твои глаза” глядят на Смоленскую дорогу. Но Окуджавы как поэта тогда не было. А если бы и был, то “совесть эпохи” выражалась всё-таки не в том, что кто-то шёл, “играя автоматом”, а в том, что “идёт война народная, священная война”. В повести “Будь здоров, школяр!” Окуджава одним из первых (вслед за Виктором Некрасовым и Константином Воробьёвым) показал живые чувства живого человека на войне. Да, в 70-е годы, при засилье официального изображения войны, это было важным. И это было правдой. Но есть правда и есть истина. Правда испугавшегося “школяра” и истина Русского Солдата, спасшего своё Отечество и весь мир. Нам необходимо знать и то и другое.

Но «совестью эпохи» испуганный «школяр» становился лишь тогда, когда начинал ощущать себя бесстрашным Русским Солдатом.

Следующая эпоха – «оттепель» конца 60-х – начала 70-х годов. Она, как известно, начинается в 1956 году, когда на XX съезде КПСС был разоблачён Сталин. В этом году начинается и поэт Булат Окуджава – в калужском издательстве газеты «Знамя» выходит его первый сборник «Лирика». Открывается эта «лирика» стихотворением «Ленин». Оно довольно длинное, поэтому цитирую только последние строфы:

*Всё, что создано
нами прекрасного,
создано с Лениным,
всё, что пройдено было великого,
пройдено с ним...
Он проходит,
простой и любимый,
сквозь все поколения,
начиная свой путь
из далёкой симбирской весны.*

Я не стану оценивать ни поэтическую, ни идейную сторону этих стихов. Но к ним надо отнестись вполне серьёзно, так как опубликованы они не легкомысленным «школяром», а зрелым 32-летним человеком, за год до того (в 1955 году, а вовсе не в войну, как сейчас принято считать) вступившим в КПСС. Воспринимать этот факт можно по-разному. Но выбор всё-таки ограничен. Либо поэт был прав, и действительно всё «прекрасное создано с Лениным». В таком случае Окуджава впоследствии предал прошедшую эпоху, а её знамя понесли Анпилов и его единомышленники. Либо Окуджава ошибался. Тогда он был не «совестью эпохи», а выразителем её роковых ошибок и заблуждений. Есть и третье возможное решение: Окуджава ничего такого не думал, а писал про Ленина, «комиссаров в пыльных шлемах», «комсомольских богинь» из конъюнктурных соображений. Ну тогда о совести вообще говорить не приходится. Других интерпретаций я не вижу.

Примечательно, что главного политического события «оттепели» – разоблачения Сталина – Окуджава вообще не коснулся, приобретя устойчивую репутацию лирика, находящегося вне политики».

В том же номере «Вестей» и на той же полосе было помещено письмо калужанина Александра Демидова, который подписался одним словом «литератор»:

«В связи с разговорами о присвоении Булату Окуджаве звания почётного гражданина Калужской области хочу высказать своё мнение.

Если бы речь шла о присуждении Булату Шалвовичу какой-то литературной премии – я был бы «за». Если бы о награде – тоже «за». В конце концов я и за то, чтобы ему присвоить звание «Почётный гражданин России», если бы такое было. Но почётный гражданин Калужской области... Для этого хотя бы нужно было уважать эту область, людей, живущих в ней. А Булат в своих многочисленных интервью и статьях, опубликованных в московской прессе, пренебрежительно относился к Калуге и калужанам, в одной из публикаций нарочито искажил фамилии реальных действующих лиц (заведующего облоно Сочилина, например, обозвал Сучилиным).

Первую свою книгу стихов, изданную в Калуге, он называл «книжонкой, за которую мне стыдно». А тогда, в конце 50-х, стыдно ему не было. Я помню, как он гордился ею. А потом... Вот, мол, каков в провинции уровень... А между тем стихи в той книге были не такие уж и плохие, по крайней мере не хуже тех, что печатались позднее.

Редкие наезды Б. Окуджавы из Москвы в Калугу были окружены тайной. Кроме общения с сотрудниками «Молодого ленинца» у него не было никаких общений с калужанами, в том числе и с местными литераторами.

В этом плане совсем иной пример показывает Станислав Куняев. Он обязательно встретится с товарищами по перу в Союзе писателей Калуги, проведёт публичные встречи с читателями. А скольких калужан опубликовал он в своём журнале «Наш современник»!

Считаю, что при примерно равном уровне поэтического творчества этих двух людей Станислав Юрьевич значительно больше сделал и делает для Калуги и калужан. Вот кто заслуживает присвоения звания почётного гражданина области!”

Время потихоньку всё расставляет по своим местам. В центре Калуги на здании, где в прошлом веке издавалась газета “Молодой ленинец”, висит металлическая доска, гласящая, что здесь работал выдающийся поэт нашего времени Булат Шалвович Окуджава, которому присвоено звание “почётного гражданина” города Калуги. Мне (возможно по заслугам, а может быть, для “идеологического равновесия”) в те же годы было присвоено звание “Почётного гражданина Калужской области”. Одним словом, как пел Окуджава, “вот так и живётся на нашем веку – всё поровну, всё справедливо”... И зря он сам, как писал калужский литератор Демидов, назвал свою первую книжку, изданную в Калуге, “**книжкой, за которую мне стыдно**”... Да, она открывается циклом стихотворений о Ленине, но помимо строк, процитированных в газете “Весть”, в книге живёт неглубокая, но и не бесчестная Лениниана, сотворенная Булатом в 1956 году аккурат к XX съезду партии:

*Мы приходим к нему за советом,
приходим за помощью,
мы встречаемся с ним ежедневно
и в будни, и в праздники.*

Написано искренне, а главное, что никто из знаменитых либералов – шестидесятников той эпохи не избежал соблазна создания Ленинианы.

Помнится, как в разгар перестройки Виталий Коротич щедро опубликовал групповые цветные фотографии этих ленинцев в своём журнале “Огонёк”, выходявшем тогда пятимиллионным тиражом. **“Нас мало, нас, может быть, четверо!”** – восторгался А. Вознесенский своей компашкой: он сам, Е. Евтушенко, Р. Рождественский и “Белка – (Б. Ахмадулина) божественный кореш” – в заснеженном Переделкино, под деревьями, с дежурными улыбками прижавшиеся друг к другу, все в дорогих дублёнках, у каждого в послужном списке поэма о Ленине: у Евтушенко “Казанский университет”, у Вознесенского “Лонжюмо”, у Рождественского “210 шагов” (если считать от Спасской башни до Мавзолея). Поэмы эти – дорогого стоили. Каждая из них не только идеологическая “охранная грамота”, но и свидетельство благонадёжности, можно сказать, дубликат партбилета, пропуск в кабинеты на Старой площади. Правда, у “божественного кореша” ничего о Ленине не было, но из своей родословной она кое-что наскребла на целую поэму о своём итальянском предке Стопани, чей прах похоронен в Кремлёвской стене, поскольку он был революционером и другом самого Ленина.

Однако вскоре место “божественного кореша” в знаменитой четвёрке на огоньковской странице занял – Булат Окуджава, у которого был настоящий полноценный стихотворный цикл о Ленине. Из его первой книги “Лирика”, вышедшей в Калуге в 1956 году: **“Мы приходим к нему за советом, приходим за помощью. Мы встречаемся с ним ежедневно и в будни, и в праздники... Калуга дышала морозцем октябрьским и жаром декретов, подписанных Лениным”**. Был там и стишок о Франции, в котором, как в зёрнышке, просматривался план будущей поэмы Вознесенского “Лонжюмо”:

*И в этом бою неистовом
рождается и встаёт
в поступи коммунистов
будущее моё,
и в кулаках матросских,
в играх твоих детей,
и в честных глазах подростка,
продающего “Юманите”.*

Эти стихи не были написаны случайно или ради конъюнктуры, поскольку Булат происходил из семьи профессиональных революционеров. Его родной дядя, брат отца Мишико Окуджава, прибыл в апреле 1917 года из эмиграции

в революционную Россию вместе с Лениным в легендарном plombированном вагоне. Так что гордиться можно было Булату такими верными ленинцами, как его отец, как брат отца вождь грузинских коммунистов Мишико, как его мать, профессиональная революционерка Ашхен. Так что не должен он был стыдиться своих ленинских стихов из калужской книги. Но что произошло с ним в девяностые годы? Как он мог забыть ленинскую мечту о том, что новая власть может научить даже **“кухарку управлять государством”**?.. Вот тогда у многих “ленинцев”, подписавших позорное письмо “42-х”, грубо говоря, крыша поехала, и даже выходец из стопроцентного революционного семейства Булат Шалвович написал недостойный его таланта антиленинский стихотворный пасквиль, напечатанный в газете “Литературные вести”, которую издавал “шестидесятник” В. Оскоцкий:

*Кухарку приставили как-то к рулю,
она ухватилась, паскуда,
и толпы забежали по кораблю,
надеясь на скорое чудо.*

*Кухарка, конечно, не знала о том,
что с нами в грядущем случится.
Она и читать-то умела с трудом,
ей некогда было учиться.*

*Кухарка схоронена возле Кремля,
в отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки снуют у руля:
и мы не случайно в ответе.*

Написано с подлинной злостью, недоступной для “бумажного солдата”. Одна лишь смысловая неувязка в этом стихике: ни Борис Ельцин, ни Егор Гайдар, ни Анатолий Чубайс, ни сам Булат Окуджава, ни прочие выходцы из партийной элиты не были ни **“кухаркиными детьми”**, ни **“внуками, “снующими у руля”**. Но Булат ведь был незаурядным поэтом, а поэты — люди увлекающиеся, забывающие о том, что “слово — не воробей”. Одно стихотворенья о кухаркиных “детях и внуках” Окуджаве, видимо, показалось мало, и он в этом же номере “Литературных вестей” под рубрикой “из Антологии антифашистской поэзии” рядом со стихами “антифашистов” Фазиля Искандера, Андрея Вознесенского, Семёна Липкина, Владимира Корнилова, Бориса Чичибабина и Татьяны Кузовлёвой напечатал ещё одно стихотворное осуждение простонародья:

*чувство меры и чувство ответственности
не присущи унылой посредственности,
сладость жертвы и горечь вины
ей несвойственны и не даны.
Потому-то посредственность эта
не выносит полдневного света —
так и тянет её в темноту...
и знамёна кровавого цвета
прикрывают её наготу*

Под “знамёнами кровавого цвета” Булат жил, работал и писал стихи, с 1955-го по 1989-й или 1990 год, пока состоял в рядах КПСС, куда вступил добровольно и откуда добровольно вышел. Никто его не заставлял сочинять стихи о Ленине, об Октябрьской революции в Калуге, о подростках, продающих в Париже коммунистическую газету “Юманите”. Главным редактором “Литературных вестей” был Валентин Оскоцкий, который в 1994 году стал известным публичным оратором после того, как научился во время тогдашних митингов на Манежке громче всех кричать “фашизм не пройдёт!”... То, что в “Литературных вестях” стал печататься Окуджава, в какой-то степени спасло это ныне забытое вместе с Оскоцким издание. В том же номере, где Окуджава поглумился над кухаркой, российско-израильский бизнесмен Илья

Колеров вспоминал: **“Однажды в спектакле молодёжного театра я услышал песню Булата Окуджавы “Возьмёмся за руки, друзья”. На меня это безумно подействовало. Я взял у мамы пластинку и стал заучивать слова наизусть, потом я прочитал роман “Путешествие дилетантов”. Это было для меня потрясением”**...

Не меньшим потрясением для поэта-антифашиста Владимира Корнилова было то, что одновременно с газетой Оскоцкого в те годы издавалась газета Проханова “День”, о чём негодовал Корнилов в том же историческом выпуске “Литературных вестей”:

*Сберегаю кусок здоровья,
не читаю газету “День”.
Этот орган средневековья.
У него мозги набекрень.
Были тексты и поковарней,
был “Майн Кампф”, был наш “Краткий курс”...*

Странно, что поэт, **“не читавший газету “День”**, знал, что у “Дня” **“мозги набекрень”** и что он **“орган средневековья”**... Но как бы то ни было — уже нет в живых ни Оскоцкого, ни Корнилова, а “День” — жив и я покупаю его в киоске каждую среду... А талантливый поэт Владимир Корнилов забыт, наверное, уже навсегда, так же, как и бездарный литератор Оскоцкий. Окуджавский цикл был насыщен картинками о том, как происходила Великая Октябрьская революция не где-нибудь, а именно в Калуге, и Окуджава пытался, как историк, изобразить калужские события 1917 года. Калужские “лабазники” в его ленинском цикле грустят и негодуют, потому что от страха перед революцией из города **“сбежал губернатор”**. Желая войти в образ калужанина минувшей эпохи, Окуджава сообщает, что **“Калуга вышвыривала афончиковых”**... Как уроженец Калуги поясню, что “Афончиковы” были до революции и во время нэпа владельцами хлебо-булочного магазина на улице Кирова (бывшей Мясницкой) и фраза “пойду в Афончиков” на моей памяти существовало до перестройки, а может быть, жива и до сих пор... Так что как историк Калуги Булат в этом цикле был на высоте. Однако, как поэт, он позволял себе в калужской книжке немало косноязычия, когда писал о Ленине: **“отсвет его (“Ленина”. — Ст. К.) волновался (? — Ст. К.) на звёздах, немеркнувших звёздах красногвардейских”**, и многочисленные примеры подобного косноязычия были свидетельством того, что русский язык всё-таки не был родным языком Булата Шалвовича.

* * *

Из моего литературного дневника (лето 1994 г.):

“Свежий номер еженедельника “Литературные вести” открывается горестной и сногшибательной сенсацией: над портретом Булата Окуджавы напечатан следующий абзац: “40 миллионов погибших — вот страшный вывод совместной российско-американской комиссии по оценке потерь в Великой Отечественной войне. Соотношение с потерями врага 10:1. Вот цена победы”.

Поскольку официальная цифра немецких потерь, всех — и военных, и среди мирного населения, и умерших от ран и бомбёжек, — общепринятая в Европе, приблизительно равна 8 миллионам, то по логике “Литературных новостей” (десять к одному) мы должны потерять не сорок миллионов, господа журналисты, а восемьдесят. То есть половину населения тогдашнего Советского Союза... И не стыдно вам врать-то? Ну хотя бы бывшие фронтовики, члены редколлегии, тот же Окуджава или Нагибин, пристыдили своих присяжных борзописцев. Ну хотя бы Артём Анфиногенов, который на этой же полосе объявлен “честным летописцем фронтового братства”, сказал своим молодым мерзавцам: **“Ребята, побойтесь Бога. Мы и так понесли тяжелейшие потери — двадцать с лишним миллионов... Неужели вам этого мало? Неужели вы так ненавидите Россию и победоносный Советский Союз, что с каким-то садизмом требуете, чтобы погибших было не двадцать миллионов, а сорок или, ещё лучше, — восемьдесят?”**

Недавно праздновали юбилей Окуджавы – бесчисленные передачи, затмившие День Победы, радио с утра до вечера гоняло окуджавские песенки, газеты пестрели его портретами, а я глядел на всё это и думал: “Нет, всё-таки талантливый человек! Как умеет перевоплощаться! Когда нужен был патриотический шлягер, когда на патриотизм был спрос, – написал песню к фильму “Белорусский вокзал”: “А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим”. Помню, как со слезой пел её покойный Евгений Леонов... А когда “антипатриотизм” стал более востребованным, тот же Окуджава быстро сообразил, что “чувство патриотизма есть даже у кошки”, и потому незачем гордиться им.

А кровавая бойня третьего-четвёртого октября? В сущности, она была гражданской войной. А ведь тот же Окуджава когда-то пел: “Я всё равно паду на той, на той единственной гражданской...” Вспоминал я эти строки в часы октябрьской бойни и думал: “Где Окуджава? Вроде звёздный час для Булата наступил, гражданская война, обещал пасть на ней и, конечно же, на стороне народа”... Ан нет! Недооценил я талант поэта, способность его к перевоплощению. Посмотрел он на всё происходящее по телевизору и заявил на всю страну:

“Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим <...> никакой жалости у меня к ним не было” (слова Окуджавы из интервью газете “Подмосковные известия”, 11.12.1993 года). Теми же словами выражала свою радость Новодворская:

“Мы ловили каждый звук с наслаждением” (это о взрывах танковых кумулятивных снарядов в Белом доме); Недаром она же в восторженной статье, названной строчкой из “Окуджавы” – **“На той единственной гражданской”**, опубликованной в журнале “Огонёк”, где главным редактором был “шестидесятник”-ленинец В. Коротич, так писала о побоище, которое устроили “шестидесятники” по духу Ельцин и Гайдар: **“Мне наплевать на общественные приличия. Рискаю прослыть сырьядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день – 5 октября, день, когда мы выиграли второй раунд нашей единственной гражданской. И “Белый дом” для нас навеки – боевой трофей. 9 мая – история дедов и отцов, чужая история.**

После октября мы – полноправные участники нашей единственной гражданской (опять она вспоминает Булата). Я желала тем, кто собрался в “Белом доме”, одного – смерти. Я жалела и жалею только о том, что кто-то из “Белого дома” ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь...

Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда сможем сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо.

Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно спать и есть. <...> “Огонёк”, № 2-3, 1994 г., стр. 26).

Эти исторические вопли Новодворской явились естественным продолжением “расстрельного” письма 42-х писателей, написанного в стиле письма Ленина “Об изъятии церковных ценностей” и опубликованного в “Известиях” 5 октября 1993 года. Разве что градус патологической ярости у Валерии был покруче. Хотя и в известинском письме защитники Российского парламента, убиенные в тот день, были названы **“красно-коричневыми оборотнями”**, **“ведьмами”**, **“убийцами”** и **“хладнокровными палачами”**, как будто не их тела были октябрьской ночью погружены на баржу и увезены в неизвестном направлении, а трупы Ельцина, Лужкова, Гайдара и прочих “гуманистов”, “борцов за права человека”.

“Они, – пишет Новодворская в “Огоньке”, – погибли от нашей руки, от руки интеллигентов <...> не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших командос-омоновцев. Они исполнили приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами... Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удовлетворение”.

Вскоре после октябрьской бойни Окуджава приехал на гастроли в Минск, где перед кинотеатром, в котором он должен был выступать, часть его бывших поклонников вывесила плакат со словами:

*В Москве палач царил кроваво,
И наслаждался Окуджава.*

А известный киноактёр Владимир Гостюхин прилюдно на сцене и на глазах у Булата раздавил каблуком пластинку с записью песен барда-шестьдесятника.

А Новодворская, как и её кумир, вела своё происхождение из семьи революционеров. Прадедом Новодворской был профессиональный революционер из белорусского местечка Барановичи, организовавший первую социал-демократическую типографию в Смоленске. Он был сослан в Сибирь, где в казённом остроге родился её дед, воевавший в Первой конной армии Будённого. Отец, по её собственному признанию, уехал в Америку, изменив свою настоящую фамилию.

В ненависти к христианству Новодворская всегда выступала как достойная ученица Демьяна Бедного и Емельяна Ярославского (он же Минея Губельман):

“Я не питаю ни малейшего уважения и приязни к русской православной церкви”, “Такие, как я, вынудили Президента на это (на расстрел Парламента. — Ст. К.) решиться и сказали, как народ иудейский Пилату: “Кровь Его на нас и на детях наших”. Один парламент под названием Синедрион уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному человеку погибнуть, чем погибнет весь народ”...

Не отставал в подобных чувствах от своей поклонницы и сын профессиональных революционеров Булат Окуджава, душевно исполнявший песенку: **“мы земных земней и, в общем, к чёрту сказку о богах”**... А когда он пытался поговорить о “загробных тайнах бытия”, то у него получалось нечто кошмарное, похожее на размышления Валерии Новодворской об иудейском народе и о Понтии Пилате:

*И о чём толковать?
Вечный спор не решил ни Христос, ни Иуда...
Если там благодать.
Что ж никто до сих пор
не вернулся с известьем оттуда?*

Надругавшись над Священным писанием, Новодворская с той же патологической лёгкостью попыталась осрамить и хрестоматийные стихи Пушкина, и российскую историю, и Отечественную войну, и русских людей, живущих в Прибалтике.

В интервью эстонским корреспондентам, приведённом в статье **“Не отдадим наше право налево!”** газетой “Новый взгляд” (№ 46 от 28 августа 1993 года), она уязвила всех, кого могла: **“Почему это в Америке индейцы не заявляют о своём суверенитете? Видно, в своё время белые поселенцы над ними хорошо поработали. А мы, наверное, в XVII–XVIII вв. что-то со своими “ныне дикими тунгусами” не доделали. И если я отдам жизнь за свободу Балтии, Украины, Грузии, то когда какая-нибудь цивилизованная страна вздумает завоёвывать Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, где установились тоталитарно-феодалные режимы, я её благословлю на дорогу. Жаль, что Россия не может считаться цивилизованной страной. Трёх вышеупомянутым государствам на роду написано быть колониями, ибо они не воспользовались во благо дарованной им свободой. Хорошо бы Англия ими поживилась...**

Апартеид — это правда, а какие-то всеобщие права человека — ложь. Русские в Эстонии и Латвии доказали своим нытьём, своей лингвистической бездарностью, своей тягой назад в СССР, своим пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у парашаи и правильно сделали”.

В следующей статье “Россия № 6”, той же газеты “Новый взгляд” (№ 1 от 15 января 1994 года), Новодворская заявила: **“Вот оно, русское чудо и загадочная русская душа! Мы всегда воевали с какой-нибудь Океанией или Остразией, как там её. Со Стефаном Баторием. С Ливонией. С Польшей. Со шведами. С Турцией. С Европой. С Финляндией. С Германией. С Афганистаном. С Таджикистаном. Классика жанра — Великая Отечественная.**

Вот формула нашего массового героизма! Страну наконец-то спустили с цепи, и она, не имея мужества перегрызть глотку собственному Сталину и его палачам, с энтузиазмом вцепилась в горло Гитлеру... Вы хотите, чтобы я считала их мужественными защитниками Отечества и идейными противниками фашизма?"

Как это ни прискорбно сознавать, но Окуджаву с Новодворской объединило общее презрение ко всему советскому, а особенно к русско-советскому простонародью. Их социальное происхождение из атеистических семей профессиональных революционеров-космополитов не позволяло им относиться, как к равным, к "кухаркам", к православному сословию, к детям христианской и мусульманской России.

Захлёбываясь от ненависти к защитникам расстрелянного Верховного Совета, "новодворские" носили в себе заразу местечкового "расизма", и таким гуманистам было не понять суть пушкинского патриотизма, живущего в словах: **"Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, и назовёт меня всяк сущий в ней язык – и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык"**...

Был ли сам Окуджава "совестью эпохи" и бескорыстным "бумажным солдатиком", жаждущим "переделать мир", "чтоб был в нём счастлив каждый"? Трудно сказать. Бескорыстные, беспомощные, игрушечные и бумажные по сути "солдатики" живут во многих его стихах...

Это и жители Арбата, **"пешеходы твои люди не великие"**, это **"смешной, отставной одноногий солдат"**. Это призраки в мундирах XIX века из "Батального полотна": **"не видишь, кто главный, кто – слуга, кто барин, из дворца ль, из хаты... Все они солдаты, вечностью объята, бедны ли, богаты"**. Это соратники автора по "подлой" войне: **"мы все – войны шальные дети: и генерал и рядовой"**, или арбатские друзья, которые **"на пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат"**, это лежащий в госпитале **"в наплывах рассветных сын недолгого века"**, исповедующийся милосердным сёстрам Вере, Надежде и Любви. И всё было бы душевно, трогательно, напевно, сентиментально, если бы "бумажный солдат" жил не в нашем страшном двадцатом веке, а в мечтах, сновиденьях, в воображении поэта. Но жизнь есть жизнь, и ей нет дела до бумажного мечтателя, жаждущего ослепить каждого, кто живёт рядом с ним в суровом и "яростном мире". И "бумажный солдат" постепенно и неотвратимо обретал другой облик. Он вспоминал свою родословную, своё происхождение из комиссарской семьи и не соглашался исчезнуть в огне, потому что подобно расстрелянному в 1937-м отцу возмечтал: **"какое новое сражение ни покачнуло б шар земной, я всё равно паду на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной"**. Он возненавидел человека, рассказавшего в компании писателей, сколько крови пролил вождь комиссаров Киров во время **"единственной гражданской"** на Кавказе, и захлебнулся от негодования: **"этого человека надо расстрелять! – Почему? – спросили его. – Потому что, – ответил Булат, – с Кировым работала моя мать!"** А что было делать "бумажному солдату" рядом с Кировым, однажды признавшимся, что ленинская гвардия пришла к победе на гражданской войне "через реки крови"?

Геннадий Красухин стоял как бумажный солдатик насмерть, защищая честь Булата: **"Не обойдёшь стороной проклятия поэту, подписавшему вместе с другими писателями обращение к согражданам после провала коммуно-фашистского мятежа в октябре 1993 года. До сих пор костерят Окуджаву: солидаризовался с убийцами! призвал к террору! Раскрыл своё нутро!"**

Зря Красухин напрягал свои голосовые связки – конечно же Булат **"солидаризовался"**, конечно **"призвал"**, конечно **"раскрыл"**, поскольку роковое письмо 42-х было сочинено и подписано всеми сорока двумя ренегатами не "после провала коммуно-фашистского мятежа", как писал Красухин, а гораздо раньше – за сутки с лишним, и это письмо окончательно развязало Е. Б. Н. руки для кровопролития. После расстрела какой смысл сочинять письма такого рода? призывать к преступлению, когда оно уже совершилось?

То ли, сморозив такую глупость, то ли солгавши, Красухин даже забыл, что его кумир спустя два с лишним месяца после бойни 4 октября сам своими устами так озвучил в одном из интервью свою причастность к этому

преступлению: **“Для меня это был финал детектива <...> никакой жалости у меня к ним не было”**. Пытаясь обелить не только Окуджаву, но и лужковских омовцев и грачёвский спецназ, Красухин нанизывал одну глупость на другую: **“В отличие от автоматов и пистолетов макашовского войска, охранники (речь идёт о телецентре. — Ст. К.) были вооружены только электрошокерами”** (Г. Красухин. “Портрет счастливого человека”)

“До сих пор бытует термин “расстрел Белого Дома”. Но такой термин — не более чем художественная метафора. Утром 4 октября танки действительно стреляли по зданию парламента, но по верхним этажам, где людей не было, причём стреляли болванками, и исключительно для того, чтобы последние засевшие в Белом доме мятежники сложили оружие. Что же до расстрела, то ни одного убитого или хотя бы раненого депутата не оказалось среди жертв нового путча. Ну и в чём обвиняют Булата его ненавистники? В обращении, подписанном Окуджавой вместе с другими писателями, нет призыва к насилию” (Г. Красухин. “Портрет счастливого человека”) И такого рода примеров неправды или глупости в книге Красухина не перечисть. Да, действительно, все депутаты Верховного Совета были выведены из здания. Но сколько защитников парламента, сколько добровольцев из московского простонародья, пришедших к телецентру, погибли в этот вечер! Когда глава ФСБ М. Барсуков удостоверился, что спецподразделения “Альфа” и “Вымпел” не желают штурмовать Парламент, он повёл себя особенно подло: **“Тактика Барсукова была простая: пытаться подтянуть их как можно ближе к зданию, к боевым действиям. Почувствовав порох, гарь, окунувшись в водоворот выстрелов, автоматных очередей, они пойдут дальше вперёд”**.

Это — отрывок из книги главного палача тех дней Б. Ельцина, “Записки президента”, стр. 11-12. Красухин оправдывает своего кумира доводами о том, что танковые снаряды были не кумулятивные, но всего лишь цельнометаллические, то есть болванки, будто болванки людей не убивают. По Красухину, стреляли из танков по верхним этажам, где людей не было (словно бы Окуджава об этом знал), и поэтому у Булата Шалвовича совесть якобы была чиста. . . Но даже солдафон генерал Павел Грачёв, понимая, что совершается нечто страшное и преступное, потребовал от Ельцина, приказавшего ему расстрелять “мятежников”, засевших в Белом Доме, чтобы этот приказ был ему дан в письменном виде. Ах, Красухин, Красухин, лучше бы твоя книга о “счастливом человеке” не попадала мне в руки.

А то, что творилось в Останкино, я видел сам своими глазами. Я был там, когда в ответ на провокацию (выстрел гранатомёта со второго этажа телецентра) началась автоматная стрельба, и толпа народа на площади попадала за гранитные стенки, окружившие подземные переходы. Я сам залёг за одну из них в то время, когда фээсбешники под командой офицера ФСБ Лысюка застрелили французского журналиста Скопона, когда толпа, сгрудившаяся перед телецентром, стала разбегаться во все стороны. А на другой день ко мне в редакцию пришёл пожилой мужчина, небритый, с безумным взглядом:

— Вы знаете, что вчера творилось в Останкино? На моих глазах две женщины, хорошо одетые, прогуливались в роще с собачками. Бэтээры, подошедшие от Белого Дома, начали стрельбу по деревьям, под которые убегали люди от телецентра. Одну женщину с собачкой ранило в плечо, а другая пуля разбила ей голову. Я видел, как собачка такса гала вокруг мёртвой хозяйки и скулила! — А сколько было убито добровольных защитников Белого Дома, которые прятались в его коридорах и подвалах, в парадных домов, окружавших место трагедии. . . Много лет подряд их фотографии, их имена выставлялись на стены стадиона “Авангард”, и мы, русские писатели, ежегодно собирались у этих стен, отдавая посмертную благодарность погибшим патриотам.

Им, защитившим честь московского простонародья, им, чьи тела были погружены, как говорили местные люди, и увезены на баржах по Москвереке на неизвестные доселе погосты. **“Для меня это был финал детектива, — подытожил Булат Шаллович свои переживания в тот исторический день. — Никакой жалости у меня к ним не было”**. И этими словами он подписал нравственный приговор самому себе. Что ни говори — решительный человек, способный в отличие от бумажного солдата на поступки, настоящий комиссарский сын, оплативший советской истории за смерть своего отца,

который эту самую историю создавал своими руками... Но когда Булат Шалвович умер во Франции от гриппа, то над ним склонились не “комиссары” в пыльных шлемах, не “Вера, Надежда и Любовь”, а две высокопоставленных шестидесятницы – Зоя Богуславская и Наина Ельцина. Может быть, что именно таким образом история подшутила над ним.

* * *

P. S.

Таковы были наши отношения с Булатом Шалвовичем в течение нескольких десятилетий двадцатого века. Остаётся в заключение лишь вспомнить о том, как мы с ним написали каждый по стихотворенью, где вольно или невольно отразились его и мои противоположные чувства о трагедии, которая в те времена вершилась на Ближнем Востоке.

Дело в том, что меня после моих “идеологических скандалов” – дискуссии “Классика и мы”, письма в ЦК о “Метрополе”, глав из книги “Жрецы и жертвы холокоста” – если и посылали от Союза писателей за границу, то чаще всего на арабский Восток – в Сирию, Ирак, Иорданию. Мол, говори там, что хочешь... А я и рад был: в чреве великих древних цивилизаций в семидесятые–восьмидесятые годы кипела живая, кровоточащая, настоящая человеческая история. Не то что в пошлой и полуживой Европе, где встречаешься с какими-нибудь славистами, мелкими диссидентами, газетными папарацци. Ближневосточная жизнь, напротив, была трагической, мощной, простонародной. В Дамаске и Багдаде, в священной для мусульман Кербале и на берегах Иордана – великого ручейка человечества, который кое-где перепрыгнуть не стоило труда – я встречал людей, умеющих жертвовать собой во имя своего народа и с именем Бога на устах.

*Побродил по нашему столетью,
заглянул в иные времена...
Голуби на Золотой Мечетью
в синем небе чертят письма.*

*То с горчинкой, то нежданно сладок
ветер из полуденных песков.
Я люблю восточный беспорядок,
запахи жаровен и цветов.*

*Шум толпы... Торговля... Перебранка...
Но среди базарной суеты
волоокая аравитянка
вывернула грудь из-под чадры.*

*Грудь её смугла и совершенна,
и уткнувшись ртом в родную тьму,
человечек, застонав блаженно,
присосался с счастьем своему...*

Далее шли строфы, снятые из стихотворенья в моём двухтомнике 1988 года нашей цензурой, которая не смогла вынести рассказа о судьбе будущего мусульманского – курдского, афганского, палестинского – смертника:

*Может быть, когда-нибудь, без страха,
он, упрямо сжав семитский рот,
с именем отчизны и Аллаха
как пророк под пулями умрёт.*

*Может быть, измученным собратьям
он укажет к возрожденью путь...
Спит детёныш, в цепкие объятия
заклучив коричневую грудь.*

Стихотворенье называлось “Дамаск”, куда в одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году мы прилетели с кабардинцем Алимом Пшемаховичем Кешоковым. Отоспавшись после самолёта в гостинице, мы утром вышли в гостиничный вестибюль и встретили высокого араба с седой шевелюрой. Он бросился к нам с распростёртыми объятьями. Это был палестинский поэт Муин Бису, с которым мы не раз встречались на ближневосточных земных широтах. Я хорошо помнил его по Тунису, где проходил съезд писателей Палестины. Мы заседали под открытым небом в каком-то парке, над президиумом под порывами ветра, налетавшего со стороны Средиземного моря, трепетало, как парус, туго натянутое полотнище, на котором в окружении двух пальмовых ветвей была оттиснута, словно зелёный наконечник копья, территория Палестины, перекрещенная двумя чёрными винтовками. Со стола президиума аж до самого пола свешивалось белое покрывало с нашитыми из красных букв арабской вязи словами: “Кровью напишем для Палестины”. На трибуну взлетел Муин и стал выкрикивать с неё стихи, посвящённые командиру студенческого отряда, погибшему в схватке с израильтянами в ливанских горах. Рефрен стихотворенья, вызвавшего бурю рукоплесканий, мне тут же перевели:

*Я люблю сопротивление,
потому что оно — пуля в груди,
а не гвоздика в петлице.*

Поэт читал не только для живых, но и для мёртвых, потому что трибуна, с которой он выступал, была обрамлена портретами палестинских писателей и журналистов, погибших в схватках с израильтянами. Все они были чем-то похожи на Че Гевару; на молодых и суровых лицах лежал трагический отсвет мученической смерти и веры в победу.

... На другой день мы взяли с собой Муина и вместе с переводчиком из посольства поехали на развалины некогда цветущего сирийского города Кунейтры, взорванного израильтянами солдатами, когда они в 1974 году в ярости покидали завоёванные сирийские земли и уходили на Голанские высоты, которые, как два покаты верблюжьих горба, виднелись на горизонте.

Мы бродили по развалинам некогда цветущего города, по исковерканным взрывами бетонным плитам, перешагивали через изогнутые ржавые клубки железной арматуры, в суеверном молчанье созерцали кладбища с поваленными и раздробленными стелами, увенчанными крестами и полумесяцами. Разрушенный город, как и положено безлюдным руинам, зарастал дикой колючей травой, повиликой, жёстким кустарником с глянцевыми листьями, от развалин, усыпанных лепестками цветущих яблонь, исходил запах сладкого тлена, по чёрным базальтовым камням, из которых в Кунейтре были сложены стоявшие рядом друг с другом мечеть и христианская церковь, извиваясь своими изящными телами, носились юркие ящерицы. Время от времени, испуганные нами, с коротким шипеньем чёрные змейки срывались с солнцепёка и ускользали в каменные щели, ввинчивались в спасительные трещины. Сирийские юноши и девушки, приехавшие поглядеть на развалины домов, где они ещё недавно жили, присаживались отдохнуть в тени цветущих каштанов. Юноши были в чёрных брюках и белых рубашках, а девушки в синих и красных платьях. Все черноволосые, смуглые, изящные, словно выточенные статуэтки.

Алим Кешоков нагнулся, разгрёб носком ботинка грудку щебня и вытащил из-под него какие-то бумажные обрывки.

— Станислав, смотри, да это же страницы Библии.

Муин взял у него из рук обугленный листок плотной бумаги и прочитал несколько слов, которые пересказал переводчик:

— “И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его; и все протоки вод запрудили и все дерева лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харешете”.

— Это об израильтянах, — сказал Муин. — Четвёртая книга Царств.

Ветерок, налетевший с ливанских гор, протянувшихся в сиреновой дымке белой снеговой линией, освежил наши лица, мы зашли в ограду христианской церкви, выбрали под платанами тенистый пятачок и присели передохнуть. Я заглянул в церковь сквозь ржавую решётку. Увидел разбитый иконостас, поваленные каменные подсвечники, выщербленные взрывами плиты. Муин волновался. Он многое хотел рассказать нам, потому что недавно вышел

с последними защитниками Бейрута из осаждённого и разбитого израильской солдатнёй города, с автоматом в руках. С его ладоней ещё не сошли пятна от оружейной стали. Рядом с ним делила все тяготы партизанской жизни его дочь — медсестра, перевязывающая раны палестинцам, умевшая, как и её брат, владеть автоматом и винтовкой. Муин вскоре познакомил меня с нею. Он просто задыхался от жажды рассказать нам о последних днях бейрутских боёв, и когда мы присели в тени и выпили по глотку коньяку из фляжки, предусмотрительно захваченной в путь Кешоковым, Муин посмотрел на нас своими громадными лошадиными глазами и начал читать стихи. Позже я перевёл их. Стихи были о том, как он и его бывший знакомый израильтянин Даниэль стали врагами.

*Даниэль,
вспоминаю, как ты крался по палубе,
как лицо твоё прожектора
вырывали из тьмы.
Ты мальчишкою крался в окрестностях Хайфы,
убежав из Освенцима
на палестинскую землю.
Палестина одела тебя
лепестками трепещущих лилий
и листьями древних олив.
Чем же ты отплатил Палестине?
Пулей в сердце оливы.
Ты возжёл не светильник из масла, а пламя пожара,
ты не шляпу надел из соломы,
а железную каску...
Ты на древнем Синае,
иль на Сирийских высотах,
или на улице Газы
будешь ждать свою смерть за мешками с песком
или за корпусом танка...*

Кабардинец Кешоков, несмотря на свои шестьдесят лет, выглядел молодцом. У него была лёгкая кавалерийская походка, седая голова и хорошая память.

— Где война, там и поэты, — сказал он. — Палестинские воюют за свою землю. Израильские — за свою. А я вам расскажу, как мы, молодые советские поэты, встретили Великую Отечественную... Служил я в кавалерийском полку, который летом сорок второго года преследовал и расстреливал без суда дезертиров в Калмыкии. Сейчас мы все друзья — Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов и я. Смеляков даже стихи о нас написал, как о четырёх колесах арбы. А тогда, летом сорок второго, Давид служил в 110-й калмыцкой дивизии, которая разбежалась при приближении немцев по Сальским степям. Наш полк отлавливал их. Хорошо, что не встретился мне в те дни Давид. Я бы его мог просто из автомата перечеркнуть...

Мы хлебнули ещё по глотку, и Алим задумался, глядя на снеговые очертания ливанских гор. Порывы ветра, летящие с их вершин, обволакивали нас тонкими запахами цветущих роз, лепестки которых, слегка привядшие, подсохли, полегчали и, когда веянье ветра усиливалось, шевелились и подползали душистыми ручейками к чёрным, начищенным ботинкам Кешокова. А я глядел на него и представлял себе, каким он был сорок лет тому назад, черноволосый юноша в черкеске с газырями, а может быть, в просто офицерской гимнастёрке, в мягких сапогах со шпорами, с автоматом через плечо, с шумной походкой охотника и кавалериста.

— А Семён Липкин, — встрепенулся Кешоков, — стал перед войной народным поэтом Калмыкии, звание ему дали за то, что перевёл на русский язык народный эпос “Джангар”. Как и Давида, его мобилизовали в ту же разбежавшуюся дивизию, только в газету. А наступавшие немцы разбрасывали с самолёта листовки с призывами: “Калмыки! Сдавайтесь! Ваш народный поэт Липкин уже у нас в плену!” Они не разобрались, кто такой Липкин и почему он народный поэт... Блефовали. В плену Семён не был.

В той же Кунейтре пред тем, как возвратиться в Дамаск, я спросил Муина Бсису:

— Какая у тебя сокровенная мечта в жизни?

Он ответил не задумываясь:

— Чтобы меня похоронили в родной земле, в независимой и свободной Палестине!

Кешоков умер в середине девяностых годов и похоронен в Москве. “Народный поэт Калмыкии” Семён Липкин написал в своих воспоминаниях, видимо, о том, о чём мне рассказывал Кешоков полвека тому назад в знойной Сирии:

“Я с некоторыми послаблениями, как литератор, принимал участие в Отечественной войне. Так случилось, что в 1942 году попал в окружение. Мы пробыли в окружении целый месяц. Для меня вследствие некоторых особенностей моей биографии попасть к немцам было бы особенно тяжело. . .”

А Муин Бсису, который стал поэтом палестинского сопротивления, так и не дождался до создания независимой Палестины. И до своей мечты — быть похороненным в родной земле. Он умер в изгнании, в одной из лондонских гостиниц, где жил под чужим именем с тунисским паспортом. И лишь одна из английских газет в хронике событий кратко сообщила о том, что в таком-то отеле в 207-м номере было найдено тело какого-то “тунильца”. На стене его комнаты был приколот кнопками портрет Че Гевары.

После этой поездки в моей “ближневосточной тетради” появилось новое стихотворенье.

ПАЛЕСТИНКА

*Не в родных партизанских лесах,
а среди аравийских просторов
я увидел в миндальных глазах
гнев, который понятен и дорог.*

*Палестинка, глазницы твои —
воспалённые два полукружья,
у тебя ни угла, ни семьи
и ладони темны от оружия.*

*Чтоб сжимать автоматную сталь
в нежных пальцах — не женское дело!
Но глядишь ты в пустынную даль
чуть с прищуром, как в прорезь прицела.*

*Я без слов понимаю твой пыл,
потому что в военные годы
я ведь тоже изгнанником был
и, как ты, знаю цену свободы.*

Да. Я вспомнил нашу с матерью эвакуацию в последнем эшелоне, уходящем в начале сентября 1941 года из Ленинграда. Через два-три дня кольцо гитлеровских войск сомкнулось вокруг города, где остался мой отец, погибший в феврале 1942-го. . . Но читатель вправе спросить, а при чём здесь Булат Окуджава? А всего лишь при том, что один из читателей, хорошо знающих мои стихотворные книги, однажды позвонил мне: “Станислав Юрьевич, а не знаете ли Вы о том, что у Окуджавы есть интересное стихотворенье, написанное, как ответ на Вашу “Палестинку”?” — “Это что, — спросил я, — песня или стихотворенье?” — “Нет! — ответил мне мой читатель. — Это, Станислав Юрьевич, своеобразная полемика с Вашей “Палестинкой”. Впрочем, послушайте!” — И он прочитал мне по телефону двенадцать строчек.

Рахели

*Сладкое бремя, глядишь, обернётся копеекою:
кровью и порохом пахнет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою
юной хозяйкой глядит из-под чёрных ресниц.*

*Как ты стоишь... как приклада рукою касаешься!
В тёмно-зелёную курточку облачена...
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяйюшка,
те фронтовые, иные, мои времена.*

*Может быть, наша судьба, как расхожие денежки,
что на ладонях чужих обречённо дрожат...
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!..*

Булата уже не было в живых, а то бы я спросил, имеет ли его “Рахель” хоть какое-то отношение к моей “Палестинке”... Во всяком случае, эта случайная история не зря была истолкована моим читателем, как некая мировоззренческая дуэль двух некогда понимавших друг друга поэтов. Правда, один из них, когда-то назвавший себя “бумажным солдатом”, в стихотворении, посвящённом Рахели, выглядит если не “комиссаром в пыльном шлеме”, то настоящим профессионалом войны, понимающим, что такое “кровь и порох”, и что **“смуглая сабра с оружием”** – это духовная родная сестра его матери, о которой он с восторгом писал: **“но тихонько пальцы тонкие прикоснулись к кобуре”**.